

Александр Степанович Грин

Таинственный лес



Александр Грин
Таинственный лес

«Public Domain»

1913

Грин А. С.

Таинственный лес / А. С. Грин — «Public Domain», 1913

«Машинально приглаживая рукой волосы, оправляя галстук, косясь на проходящих мимо в суровой чистоте блузок, сосредоточенных учащихся барышень, Рылеев справился у библиотекаря, выписана ли затребованная книга, и, получив ее, занял обычное место у окна. Он работал в библиотеке второй месяц, выписывая из специальных изданий все сведения, факты и обобщения, которые должны были составить в обработке содержание заказанной Рылееву научным издательством книги. Процесс работы был приятен Рылееву. Книга эта представляла собой один из крупных камней здания его жизни: помимо материальных выгод, издание книги обеспечивало ему некоторую, тоже выгодную, известность...»

Александр Грин

Таинственный лес

I

Машинально приглаживая рукой волосы, оправляя галстук, косясь на проходящих мимо в суровой чистоте блузок, сосредоточенных учащихся барышень, Рылеев справился у библиотеке, выписана ли затребованная книга, и, получив ее, занял обычное место у окна.

Он работал в библиотеке второй месяц, выписывая из специальных изданий все сведения, факты и обобщения, которые должны были составить в обработке содержание заказанной Рылееву научным издательством книги. Процесс работы был приятен Рылееву. Книга эта представляла собой один из крупных камней здания его жизни: помимо материальных выгод, издание книги обеспечивало ему некоторую, тоже выгодную, известность.

Все здание жизни, упорно подготовляемое долгими годами ученья, хлопот, настойчивых усилий и каменного терпения, должно было увенчаться осенью получением хорошего штатного места при академии и женитьбой на давно уже, несколько лет, любимой девушке.

Рылеев любил думать о своем будущем, относился к нему ревниво и строго.

Сев, Рылеев снял пенсне, вытер его, надел снова и посмотрел, как всегда, прямо перед собой, потом влево и вправо. Впереди, подходя к солнечным венецианским окнам, тянулась вереница лиц и затылков, склоненных над книгами. Это была всегда одна и та же картина выраженного фигурами людей массового мозгового напряжения. Слева от Рылеева сидела полная, невысокая дама с флюсом и обиженными глазами: она рылась в старых журналах. Справа, локоть к локтю Рылеева, вытянув под столом ноги и подперев небритый подбородок пальцем левой руки, плохо одетый, не первой молодости человек читал, не подымая глаз, французский переводной роман. Романы менялись, а чтец их, аккуратно являясь к открытию библиотеки, требовал недочитанную «Морскую змею» или «Жеводанского зверя» и, усаживаясь на прежнем месте, щипал траурными пальцами уголок страницы.

Рылеев, посмотрев с неуважением на этого человека, ушел в работу, и прошло немного времени, как в памяти его и блокноте внедрились свежие научные новости, достойные обработки. Он мысленно отшлифовал их, приодел, исправил погрешности перевода, в одной фразе нашел легкую казуистическую вольность, усмехнулся, похерил мировоззрение автора, записал голые факты и перешел к следующей главе. Изредка давая отдохнуть глазам или обдумывая что-либо, он подымал голову, видя все то же: светлую пустоту под потолком, голые солнечные подоконники, согнутые спины идущих на цыпочках людей и концентрические подковы черных столов, утомляющие глаз казенной симметрией. Между портретами Державина и Кольцова круглые стенные часы, сдержанно зашипев, пробили час; в углу, покраснев и не удержавшись, чихнула барышня, где-то заскрипел стул, потом упал карандаш. Звуки эти, разделенные долгими паузами тишины, резко останавливали внимание. И так, погруженный в хоровод своих и чужих мыслей, Рылеев просидел два часа.

Почувствовав утомление, сухость во рту и неудержимое желание перебирать под столом ногами, он встал, бесшумно удалился в курительную и, в обществе нескольких молодых курильщиков, смотревших, прислонясь к стене, на носки сапог, выкурил тоненькую, хмельную натошак, папиросу. Еще немного оставалось ему записать отмеченных в книге мест; он вышел и в коридоре столкнулся с улыбавшимся ему студентом Гоголевым, шедшим навстречу. Рылеев и Гоголев снимали вместе одну меблированную комнату.

– Я думал, вы ушли, – сказал Гоголев, отстегивая пуговицу мундира. – Я искал вас, вам письмо есть, почтальон был сейчас. А мне надоело сидеть дома, прошелся, так хорошо, тепло, кстати и письмо захватил.

Румяное, женственное лицо его с тупым под белыми усиками ртом силилось что-то вспомнить; он прибавил:

– Мурмина и Григорий Антонович приглашают вас вечером. Еще будут гости. А Валечка разучила что-то, сыграет... Придете?

– Хорошо, – сказал Рылеев, беря письмо. Взглянув на почерк, узнал руку Лизы и, обрадованный, забыл, что сказал Гоголев. – Так что вы говорите? Мурминой сыграть? Ах да, я приду, спасибо.

– Я Блосса буду читать, – заявил Гоголев, обдернул рукава и отошел. Рылеев, стоя в углу коридора, смотрел на конверт, стесненно вздохнул и, как всегда несколько волнуясь, разорвал угол письма. В это мгновение он был далек суровому быту читальни. Проходя мимо Рылеева, сухо посмотрела на него женщина воинственно-ученой осанки. Он, не заметив ее, прочел письмо:

«Милый мой Алексей! Этим письмом я расстаюсь с тобой навсегда. Случилось то, чего не надобно тебе знать, и не все ли равно? Наши дороги разошлись.

Забудь меня совсем, прости; мне кажется, что ты не тот, кого я ищу. Пока еще думаю о тебе, и мне тебя жаль. Прости же.

Лиза».

Прочтя это, Рылеев невольно задержал дыхание, шумно вздохнул и сделал несколько шагов поперек коридора, усиливаясь придать лицу, для себя самого, комически ошеломленное выражение. Но и тени самообладания не было уже в нем, все впечатления дня вдруг испуганно посторонились, уступая место жесткому выражению строк, дрожавших в руке Рылеева. Из странной, глубокой отдаленности доносились к нему, шаги мимо идущих людей, сдержанные голоса, кашель. Тихо и строго, пока еще лишённое смысла, повторялось его душой прочитанное письмо, и чувствовал он, что лицо болезненно горит, как будто жар невидимого огня усиливается в воздухе. Так же как простреленный навывлет солдат, почесав едва ощущаемую сгоряча рану, бежит еще некоторое время, удивленно смотря на побледневшие за него лица товарищей, – Рылеев, опустив руку с письмом, вошел в зал, увидел свой пустой стул, книгу, тощие скулы чтеца романов, сел и понял.

Он понял, что библиотека, трудовые часы его, бесчисленное количество книг, к которым доньше был он жаден, полон острого, охотничьего чувства, посетители, сидящие и выходящие, портрет Державина и умное, как бы приглашающее работать, лицо красивой библиотекарши не нужны ему, существуют по недоразумению и противны. Также он понял, что от Лизы писем больше не будет, что наступила полоса большого, острого горя, но не мог еще понять и примириться с тем, что лишился любви. Этого он, продолжая любить, не понимал. И текущий день стал перед ним в трагическом свете, как бы говоря теперь, что утром было у него хорошее настроение по ошибке, что иначе надо понимать светлые аллеи бульваров, что день потерпел крушение.

Посидев еще немного, Рылеев, сильнее, чем всегда, размахивая руками, встал и вышел из библиотеки на улицу.

II

Ночью, после того, как вернувшийся из гостей Гоголев (Рылеев не был у Мурминых) съел, зевая, остатки сыра и колбасы, рассказывая набитым ртом, что, в сущности, Мурмины милы,

но старомодны, Рылеев уснул тяжелым, полным стремительных, грозных образов, сном, во сне стонал и, неожиданно для себя, словно его ударил тотчас же спрятавшийся неизвестно куда враг, проснулся около двух. Было темно, тихо, в темноте шептали стенные часы, а на стекле окна, как нарисованная, обозначилась белесоватым зигзагом пленка зари.

Еще не помнившийся, растирая левую сторону груди, где, стесненное, болезненно кололось сердце; Рылеев сел, потянул рукой одеяло, собираясь снова заснуть, но вспомнил вчерашний день, письмо и выпрямился; сон исчез, полная работа сознания остановилась на том, чему отныне всегда могло быть только одно имя: горе. Рылеев привык думать о своей любви и окончательном соединении с любимой девушкой, как о таком жизненном положении, которое не властно изменить ни он сам, ни она, ни какие-либо посторонние силы. Дремлющий, как у большинства людей, дух его спокойно относился к будущему: спокойно любил Рылеев, думая, – так как мы склонны переносить чувства свои на других, – что и он любим тоже спокойно, тихо, сильно и верно.

План Рылеева был такой: заработать побольше к осени денег, написать Лизе, что все устроено, что они могут жить вместе, не опасаясь нужды. Лиза жила в далеком провинциальном городе, где, мыкаясь в поисках заработка, случайно познакомился с нею Рылеев; она служила в транспортной торговой конторе. Ей шел теперь двадцать второй год, она была роста несколько выше среднего, красивая девушка с темными тяжелыми волосами: исключительно женственных очертаний стройная фигура ее, высоко поставленные брови и темный разрез глаз всегда мысленным портретом стояли перед глазами Рылеева. Сидя на кровати, обхватив руками колени и легонько покачиваясь, словно ритм этих маятникообразных движений мог успокоить хаос разоренного чувства, Рылеев почти физически слышал и понимал, как прежняя спокойная, элегическая влюбленность его перерождается в тоскливый недуг страсти, ревнивой и беспомощной, более мучительной от тех самых интимных воспоминаний, которые еще недавно он назвал бы светлыми.

В письме, оставившем по себе такое чувство, как будто бы двое суток подряд сильно болела голова, но боль прошла, сменившись нервной слабостью и дрожью рук, – в этом письме не было ничего, что прямо указывало бы на личность соперника, похитившего любовь женщины. Тем не менее Рылеев чувствовал этого другого так ясно, как если бы тот дышал ему прямо в лицо. Навязчивые представления овладели им. Ужасаясь и возмущаясь, Рылеев видел Лизу радостно отдающуюся другому, а подробности представлений – для себя только волнующие – по отношению к невидимому сопернику казались страшным цинизмом.

Часы пробили два. Нервная городская ночь, просветлевшая до возможности отчетливо, как днем, различать предметы, торопилась изжить себя, перегорев в белых, без лучистого света, извилистых плоскостях рек и каналов. У Рылеева от напряжения и тоски звенело в ушах; прекратившись, звон этот раздался в углах торопливым, невнятным шепотом. Казалось, ожили к неподвижной, безглазой жизни мебель и книги, стены и занавески; все, что находилось здесь, потянулось друг к другу, шепчась секретно, меланхолически, шепотом наполняя воздух, и даже воздух, не вынося бессонных человеческих глаз, беззвучно шептал тенями странных слов крики, мольбы, угрозы, нежные клятвы, предостережения, жалобы. Погруженный в их торопливый мир, Рылеев сидел долго, опустив голову. Все уже передумал он; а все вертелась по огненному кругу мысль, одна и та же, об одном и том же, пока не стало ясным совсем, что не может быть примирения, что жить без Лизы он не может и не хочет.

Рылеев вырос в той думающей готовыми, приличными и культурными мыслями среде, которую принято называть интеллигенцией. В среде этой по отношению к любви господствовал умный, бесполой на нее взгляд: признавалось, что чувство любви свободно; что уважать свободу любви необходимо, если уважаешь человеческую личность; что тот, кого разлюбили, должен отнестись к этому внешне спокойно, не ревновать и не стараться силой ли, хитростью или страстью завоевать вновь потерянные отношения. Однако самоубийство не то что допус-

калось, а смотрели на него сквозь пальцы: «Неумный это был человек – и погиб». Ревность же, действительный признак силы и глубины любви, старались выставить стадным, животным пережитком. Так же относился ко всему этому и Рылеев; не раз слушая нежные голоса, твердившие беззвучно ему о возвышенности его любви, думал он, что, если возлюбленная его полюбит другого, не станет он мешать ее счастью, а отойдет и будет велик жертвой своей и, молча страдая, полюбит любовь к другому.

Все это исчезло, как будто и не было его никогда.

«Моя!» – твердила закипавшая кровь, а интеллигент в Рылееве, отойдя к сторонке, стоял растерянно. «Не может быть иначе, не будет этого, я не хочу!» – сказал Рылеев и тут же подумал, что у соперника должны быть насмешливые глаза; глаза эти издаലെка смотрели на него, обвеянные женской страстью.

В комнате, от падающих из-за реки и бледных, но уже веселых лучей было совсем полдню. Успокоенный главным решением, принятым бессознательно еще в библиотеке, бросившим его случаю и человеческой воле, Рылеев тяжело задремал.

Проснувшись с горьким вкусом во рту и сразу же, по воспоминании о происшедшем, возбуждаясь так, что похолодели руки, он увидел пустую кровать Гоголева, часовую стрелку на двух и тепленький самовар. Не одеваясь, Рылеев выпил стакан холодного чая, завалил комнату бельем, книгами, нужными в дороге вещами и, собрав чемодан, оставил на столе Гоголеву половинные за квартиру деньги. С собою он брал все, что было накоплено для жизни с Лизой: четыреста двенадцать рублей. Потом, одевшись, постоял немного на одном месте, сел и написал записку сожителю:

«Я приеду через неделю, не думайте ничего особенного».

Сделав это, прошел мимо переставшего от удивления что-то жевать швейцара и крикнул извозчика. Швейцар вышел на тротуар.

– Ехать изволите? – сказал он, смотря главным образом на чемодан.

– Да, – ответил Рылеев, – я на один день.

Говорить ему было противно и трудно. Швейцар поддержал Рылеева за локоть и поместил чемодан удобнее, чем это сделал извозчик. Рылеев дал рубль швейцару, а тот, сняв фуражку, блеснул лысиной.

Извозчик дернул вожжами. Прекрасный, полный воздушного огня, день весело и деловито развернулся вокруг Рылеева, но от света, движения уличной толпы и жидкого лязга подков извозчицкй клячи Рылеев еще острее почувствовал, как чужда, до неведомого исхода страдания, сделалась ему жизнь.

II

Ночью, после того, как вернувшийся из гостей Гоголев (Рылеев не был у Мурминых) съел, зевая, остатки сыра и колбасы, рассказывая набитым ртом, что, в сущности, Мурмины милы, но старомодны, Рылеев уснул тяжелым, полным стремительных, грозных образов, сном, во сне стонал и, неожиданно для себя, словно его ударил тотчас же спрятавшийся неизвестно куда враг, проснулся около двух. Было темно, тихо, в темноте шептали стенные часы, а на стекле окна, как нарисованная, обозначилась белесоватым зигзагом пленка зари.

Еще не помнившийся, растирая левую сторону груди, где, стесненное, болезненно кололось сердце; Рылеев сел, потянул рукой одеяло, собираясь снова заснуть, но вспомнил вчерашний день, письмо и выпрямился; сон исчез, полная работа сознания остановилась на том, чему отныне всегда могло быть только одно имя: горе. Рылеев привык думать о своей любви и окончательном соединении с любимой девушкой, как о таком жизненном положении, которое не властны изменить ни он сам, ни она, ни какие-либо посторонние силы. Дремлющий, как у большинства людей, дух его спокойно относился к будущему: спокойно любил Рылеев,

думая, – так как мы склонны переносить чувства свои на других, – что и он любим тоже спокойно, тихо, сильно и верно.

План Рылеева был такой: заработать побольше к осени денег, написать Лизе, что все устроено, что они могут жить вместе, не опасаясь нужды. Лиза жила в далеком провинциальном городе, где, мыкаясь в поисках заработка, случайно познакомился с нею Рылеев; она служила в транспортной торговой конторе. Ей шел теперь двадцать второй год, она была роста несколько выше среднего, красивая девушка с темными тяжелыми волосами: исключительно женственных очертаний стройная фигура ее, высоко поставленные брови и темный разрез глаз всегда мысленным портретом стояли перед глазами Рылеева. Сидя на кровати, обхватив руками колени и легонько покачиваясь, словно ритм этих маятникообразных движений мог успокоить хаос разоренного чувства, Рылеев почти физически слышал и понимал, как прежняя спокойная, элегическая влюбленность его перерождается в тоскливый недуг страсти, ревнивой и беспомощной, более мучительной от тех самых интимных воспоминаний, которые еще недавно он назвал бы светлыми.

В письме, оставившем по себе такое чувство, как будто бы двое суток подряд сильно болела голова, но боль прошла, сменившись нервной слабостью и дрожью рук, – в этом письме не было ничего, что прямо указывало бы на личность соперника, похитившего любовь женщины. Тем не менее Рылеев чувствовал этого другого так ясно, как если бы тот дышал ему прямо в лицо. Навязчивые представления овладели им. Ужасаясь и возмущаясь, Рылеев видел Лизу радостно отдающуюся другому, а подробности представлений – для себя только волнующие – по отношению к невидимому сопернику казались страшным цинизмом.

Часы пробили два. Нервная городская ночь, просветлевшая до возможности отчетливо, как днем, различать предметы, торопилась изжить себя, перегорев в белых, без лучистого света, извилистых плоскостях рек и каналов. У Рылеева от напряжения и тоски звенело в ушах; прекратившись, звон этот раздался в углах торопливым, невнятным шепотом. Казалось, ожили к неподвижной, безглазой жизни мебель и книги, стены и занавески; все, что находилось здесь, потянулось друг к другу, шепчась секретно, меланхолично, шепотом наполняя воздух, и даже воздух, не вынося бессонных человеческих глаз, беззвучно шептал тенями странных слов крики, мольбы, угрозы, нежные клятвы, предостережения, жалобы. Погруженный в их торопливый мир, Рылеев сидел долго, опустив голову. Все уже передумал он; а все вертелась по огненному кругу мысль, одна и та же, об одном и том же, пока не стало ясным совсем, что не может быть примирения, что жить без Лизы он не может и не хочет.

Рылеев вырос в той думающей готовыми, приличными и культурными мыслями среде, которую принято называть интеллигенцией. В среде этой по отношению к любви господствовал умный, бесполой на нее взгляд: признавалось, что чувство любви свободно; что уважать свободу любви необходимо, если уважаешь человеческую личность; что тот, кого разлюбили, должен отнестись к этому внешне спокойно, не ревновать и не стараться силой ли, хитростью или страстью завоевать вновь потерянные отношения. Однако самоубийство не то что допускалось, а смотрели на него сквозь пальцы: «Неумный это был человек – и погиб». Ревность же, действительный признак силы и глубины любви, старались выставить стадным, животным пережитком. Так же относился ко всему этому и Рылеев; не раз слушая нежные голоса, твердившие беззвучно ему о возвышенности его любви, думал он, что, если возлюбленная его полюбит другого, не станет он мешать ее счастью, а отойдет и будет велик жертвой своей и, молча страдая, полюбит любовь к другому.

Все это исчезло, как будто и не было его никогда.

«Моя!» – твердила закипавшая кровь, а интеллигент в Рылееве, отойдя к сторонке, стоял растерянно. «Не может быть иначе, не будет этого, я не хочу!» – сказал Рылеев и тут же подумал, что у соперника должны быть насмешливые глаза; глаза эти издалека смотрели на него, обвеянные женской страстью.

В комнате, от падающих из-за реки и бледных, но уже веселых лучей было совсем по-дневному. Успокоенный главным решением, принятым бессознательно еще в библиотеке, бросившим его случаю и человеческой воле, Рылеев тяжело задремал.

Проснувшись с горьким вкусом во рту и сразу же, по воспоминании о происшедшем, возбуждаясь так, что похолодели руки, он увидел пустую кровать Гоголева, часовую стрелку на двух и тепленький самовар. Не одеваясь, Рылеев выпил стакан холодного чаю, завалил комнату бельем, книгами, нужными в дороге вещами и, собрав чемодан, оставил на столе Гоголеву половинные за квартиру деньги. С собою он брал все, что было накоплено для жизни с Лизой: четыреста двенадцать рублей. Потом, одевшись, постоял немного на одном месте, сел и написал записку сожителю:

«Я приеду через неделю, не думайте ничего особенного».

Сделав это, прошел мимо переставшего от удивления что-то жевать швейцара и крикнул извозчика. Швейцар вышел на тротуар.

– Ехать изволите? – сказал он, смотря главным образом на чемодан.

– Да, – ответил Рылеев, – я на один день.

Говорить ему было противно и трудно. Швейцар поддержал Рылеева за локоть и поместил чемодан удобнее, чем это сделал извозчик. Рылеев дал рубль швейцару, а тот, сняв фуражку, блеснул лысиной.

Извозчик дернул вожжами. Прекрасный, полный воздушного огня, день весело и деловито развернулся вокруг Рылеева, но от света, движения уличной толпы и жидкого лязга подков извозчицкой клячи Рылеев еще острее почувствовал, как чужда, до неведомого исхода страдания, сделалась ему жизнь.

III

Петруха и Демьян с утра рубили на делянке дрова, а Звонкий, третий дроворуб, сидел дома. За неделю была выставлена им сажень дров, под эту сажень куренщик выдал Звонкому муки, мяса, водки и табаку.

Звонкий был безнадежно ленив той ленью, которая, чтобы удовлетворить себя, должна предварительно покориться необходимости заработать трешницу. Он был ободран, грязен, великолепно рыж, бородат, толстогуб; с припухшими от сна, хитрыми серо-голубыми глазами. В лаптях на босую ногу, отчего кривые ноги его, обтянутые узенькими холщовыми портками, казались тонкими, как у ребенка. Звонкий подпоясал рубаху монастырским пояском с надписью: «Блаженны нищие, яко тех есть царство небесное», развел под остывшим котелком с водой огонь и, сев на пороге, стал думать; что здесь скучно, а работа тяжка, и нет народа, с которым шумно, гульливо, озорно, полное визжащих баб, течет мужицкое воскресенье или двенадесятый. Звонкий был мужик из не теряющих своего мужицкого обличия крестьян, своеобразный рыцарь отхожих заработков, грузивший барки на Волге, косивший хлеб у колонистов в Саратове и даже тушивший в Баку пожары нефтяных вышек, – но всюду неприкосновенно пронесший свои портки, лапти, монастырский поясок и ту диковинную для горожанина психологию, в которой все начинается с утверждения, а доказательства вырабатываются собственными боками.

Звонкий, дуя на блюдечко, долго пил горячий вприкуску чай, покурил, надел шапку и вышел. Вдали, в синем зареве леса и неба, тянулась сизая седловина холмов. Мужик тронулся по тропе к делянке Петрухи. Свеженарубленные поленницы тянулись меж низко срезанных пней и груд хвороста. Мелкие белые цветы, лиловые колокольчики, ландыши, желтая богородская травка, сливаясь пятнами, напоминали брошенные цветные платки. Звонкий увидел Петруху – мужик, сидя на земле, подпиливал голую до вершины сосну. Пила, скрываясь в разрезе, шипела еле уловимым, шипящим звоном.

Звонкий остановился сзади Петрухи. Петруха, пропилив три четверти ствола, забил в щель клин, и дерево, закрипев, нагнулось. Сопя от утомления, дроворуб встал, положил пилу и, обернувшись, увидел Звонкого.

– Не работаешь? – сказал Петруха.

– Вали сам, – ответил Звонкий, – а я посмотрю. Навалил ты, мужик, лесу, как кирпичей.

– А што? – самодовольно сказал Петруха. – Куб выставлю сегодня, ей-богу.

– Пилу направил?

– Направил. – Петруха поднял пилу и, держа ее против солнца, нацелился глазами вдоль зубьев. Математически правильно разведенные острия блеснули ему прямо в лицо огненным желобком. – Еще и не совсем ладно.

– Скажи секрет, Петруха, чем пилу направил?

– Чудак твой отец, – сказал дроворуб, вытирая рукавом потное, широкое лицо. Он щелкнул пальцем по зазвеневшей пиле. – Ручку одну сними. И отрежь пилы с этого конца четверть. А развод сделай по нитке, и чтоб все зубы были как один, и спили каждого, сколько другого спилил, как в аптеке. Понял?

Он стал распиливать сучковатый кругляк. Пила от первых же движений руки ушла в дерево так глубоко и легко, как нож в хлеб. Менее чем через минуту кругляк рассыпался надвое.

– Видел? – сказал Петруха.

– Вот елки-палки! – проговорил Звонкий. – Ну и пила!

Демьян, высокого роста худой старик, наколачивая топором на обух, сказал Звонкому:

– Мутит от тебя, Коскентин, шел бы ты куда.

– Ишь, – захохотал Звонкий, – старухе на платок потеешь. Стар уж, капитала не наживешь.

Старик, не отвечая, проворно, словно руки и ноги его были моложе тела лет на сорок, захлопотал около дерева, сек, размахивая топором, сучья и изо всех сил, приговаривая, как мясник, разрубаящий тушу: «Кэах, кэах», принялся рассекать ствол. Топор уходил все глубже; все яростнее металась старческая, обведенная полуседым венчиком вьющихся волос голова. Топор судорожно звенел.

Перестав рубить, Демьян оглянулся, желая сказать Звонкому еще раз: «Шел бы ты, право», но никого не увидел. Звонкий шел по направлению к сухому болоту, где рос не крупный кедровник. Он испытывал тоскливую потребность двигаться, придумывая ненужные и сомнительные предлоги: сбить шишки, надрать лыка, хотя лаптей сам не плел, а по вечерам предпочитал рассказывать сказки. Он знал их множество. Это были уродливые порождения фабрично-босаяцкой фантазии, где в противоестественном, фантастически-похабном сплетении выступали попы, генеральши, лакеи, животные и неизменный солдат-ловкач, берущий в жены принцессу, выражающуюся, например, так: «Окромя пирожного – ничего».

Утренний лес, под светлым, режущим глаза, небом, печальный крик сойки, смутные голоса чащи, скользкая под ногами хвоя, седой от мхов бурелом, полное дыхание летней земли и рассеянный лесной свет неотступно окружили идущего мужика. Он не думал о них так же, как мало думаем мы о привычных для нас вещах: книгах, письменных принадлежностях. Простое, но чрезвычайно поразившее Звонкого представление заставляло мужика хмыкать носом и, скаля зубы, подозревать учиненный ему неведомо кем подвох. Был ли это подвох – Звонкий еще не знал в точности, но очень хорошо знал, что вырубленные им дрова плывут по реке к заводу, пережигаются в уголь, и углем этим плавят чугун. Чугун превращается в железо, а из железа делается пила. Пилой опять пилят дрова, и это может продолжаться до второго пришествия.

Поверхностный взгляд не открыл бы даже и одной шишки в густой, мягкой хвое молодых кедров. Человек, желающий разжиться орехами, должен очень долго смотреть на дерево, тогда

висящие под ветвями снизу коричневые шишки становятся доступны если не руке, то глазу. Звонкий поднял высохший сук и швырнул его в ту часть кедра, где гуще, у вершины, гнездились шишки. Упало несколько штук. Мужик, сунув их в пазуху, продолжал занятие. Кружась, отступая, пятясь задом, высматривая и сбивая орехи, Звонкий вернулся к просеке. И в редкой опушке кедров случайно рассеянному взгляду его мелькнуло человеческое лицо. Оно не было ни мужским, ни женским. Присмотревшись, Звонкий различил два лица – мужское и женское. Игра света и теней соединила их на мгновение в один образ; мужчина сидел на земле, подогнув ноги, женщина полулежала, опираясь на локоть, и, поднимая глаза к наклоняющемуся над ней мужскому лицу, говорила что-то непонятное Звонкому.

«Со станции, больше неоткуда», – подумал мужик, и лицо его, незаметно для самого Звонкого, расплылось в двусмысленную, широченную улыбку. «Любовь крутят», – мелькнуло под рыжими волосами. Стоя неподвижно, с руками, полными шишек, мужик наслаждался неожиданным зрелищем. Десятками поколений предков наметанный взгляд его безошибочно определил барышню. В белом, по-бабы надетом платке была эта женщина, и в ситцевом, простом, по белому синим горошком, платье – но не так, аккуратно вытянув ноги в остреньких башмачках, – лежит баба, и не так прямо смотрят ее глаза. Звонкий, аккуратно сложив шишки к пеньку, опустился на четвереньки и, дыша в бороду, подполз к самой просеке; теперь в десяти шагах от него была пара, и мог он смотреть досыта.

Насколько легко мужик определил барышню, настолько же трудно было ему сказать себе, что этот кавалер – вот то-то и то-то. Не понять было его. Здоровый и длиннорукий, в канаусовой «барде» – рубахе, подпоясанной ремешком, – в сапогах до ляжек, какие носят шахтовые забойщики, с белым лицом, веснушчатый; выпуклые, светлые под низкими бровями глаза, густой пушок темнил губу. На голове неизвестного плотно сидела бобриковая, с плисовым верхом, шапка. По приметам всем этим – свой брат, из чистых, но говорил непонятное и не так, как говорят мужики, а сверху бросая слово, как бы в руке подержав его, ошупав и кинув.

Осмотрев мужчину, Звонкий погрузился в созерцание барышни. «Одно слово – беленькая», – подумал он. Ее лицо насупило и поразило его: было оно как теплая у сердца рука, а волосы – темные, и над большими глазами – тонкие, как серп раннего месяца, шнурками брови. Она протянула свою руку мужчине, тот погладил ее, как гладят трущуюся у колен кошку, и поцеловал в кисть. И это более всего поразило Звонкого. Все, что видел он потом, глухим и ненасытным раздражением проникло в него, но поцелованная рука так и засела в памяти. У мужика пересохло во рту. Лежа на брюхе, сладко потянулся он и подумал: «Как заору – так и стрекача дадут». Но настоящего желания заорать у него не было, а только радовался он, что, если захочет напугать, напугает и уж не красиво будет, а смешно и совестно.

Он начал понимать уже, о чем говорит пара, – что барышне мешает в чем-то Рылеев, а мужчине к вечеру надо куда-то идти на место и что очень он любит, – как вдруг теснее и ближе сели они друг к другу, обнялись, застыли, и, губы в губы, взасос, звонкий поцелуй обжег слух Звонкого. Смотря на чужую любовь, мужик, хихикая, похолодел весь, и мелкой дрожью забило его, как от страха. На просеке горячее солнце золотило березовые пеньки; смешанный в этом месте лес, залитый паутиной теней, пестрел цветной зыбью. Мужик налился кровью и перестал дышать. «Ухну!» – подумал он, и тотчас же нестерпимое желание зашуметь пересилило его любопытство. Открыв рот, набрал он воздуха и крикнул, но безголосый в пересохшей гортани сип бессильно растаял в воздухе.

Мужчина встал, встала и женщина; разгоревшиеся, казались оба Звонкому – в лежащем положении – гигантами. Он смотрел на них снизу вверх, уже струсив, боясь, не заметили ли его воровского присутствия. Как только они встали, отвалило у него с души ревнивое о чужой жизни беспокойство, а вместе с тем было жаль, что ничего, то есть главного, не было. Оба пошли рядом, не оглядываясь. Звонкий оскалил зубы, смотрел им вслед, потом медленно, отряхнув ползущих за воротник муравьев, встал и подошел к тому месту, где только что сидели

два человека. Медленно, как бы пробуждаясь от сладкого сна, неохотно выпрямлялась примятая у бугорка трава; у ног Звонкого, певуче гудя, летал шмель, а в ушах отзвуком сновидений раздавались замолкшие вдали голоса людей. Шмыгнув носом, мужик сел на бугор, подмигнул себе и, находясь в сказочном настроении, тихо проговорил никому:

– Если по-благородному, уж без сумления.

Он сидел, согнув ноги, и коленки заныли. Звонкий встал, щеголевато потрагивая замусленную шапку; все еще хотелось ему заочно подойти к барышне, так и рябил в глазах синий, по белому ситцу, горошек.

– Эх, и посидела бы ты тут со мной, уж я бы. – искренне воскликнул он и оборвал, не договорив, что хотел выразить, да и не было на его языке таких слов, чтобы грубое соединить не с грубым, а с новым.

IV

Поезд еще не подошел к вокзалу, а в проходах вагонов толпились уже гуськом пассажиры, тыкая друг друга чемоданами и корзинками. Тут же стоял Рылеев, переминаясь от нетерпения. Поезд равномерно замедлил ход, зашипел тормоз, вагон, дрогнув, остановился, и все малопомалу, падая друг на друга, вышли из поезда.

Отдав вещи на хранение, Рылеев прямо с вокзала нанял извозчика. Дорога почти не утомила Рылеева; трое суток, проведенных в вагоне, были так малы в сравнении с пережитым, что вспоминал он о дороге менее всего как о времени. Но путешествие заставляло его чувствовать полный разрыв с прежним, оно само и было разрывом.

Сказав извозчику адрес, Рылеев весь взволновался, так неотвратимо было теперь, что эту улицу и дом этот он увидит, почувствует. «Какой это дом номер двадцать девять, какая улица Чудовская?» – спрашивал он, бывало, себя раньше, получая Лизины письма, и, конечно, ничего не представлял себе, но дом и улица, как и все, что имело отношение к Лизе, были обвеяны для него таинственным любовным томлением; в дом этот и улицу, не зная их, он был влюблен тоже. Пасмурное летнее утро бросало на провинциальный город тень скуки. Шли, раскачивая поставленными на голову корзинками, татары, покрикивая: «Апельсины, лимоны хороши», из-за угла выехал порожний извозчик, старая дама в сопровождении кухарки шла с сумочкой на базар, мальчишки пускали змеев. И столичное разнообразие уличных впечатлений мешалось в голове Рылеева с дамой, змеем и апельсинами.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.